

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

DOI10.25991/VRHGA.2019.20.3.001

УДК 165.12

*К. В. Лощевский**

ЯЗЫК И ФОРМИРОВАНИЕ СУБЪЕКТИВНОСТИ: ВЕРСИЯ СОЛОМОНА МАЙМОНА

В статье рассматривается предложенное Соломоном Маймоном решение лингво-гносеологического парадокса, проявляющегося в том, что ребенок сравнительно поздно овладевает речью от первого лица. Для его объяснения Маймон переходит от экспликации фактов сознания к анализу речевых высказываний, выявляя эксклюзивный характер личных местоимений первого и второго лица, значения которых невозможно установить путем простого соотнесения знака и его реального референта и которые в силу этого образуют intersubjective полюсы языковой коммуникации. Выясняется, что самоидентификация субъекта осуществляется прежде всего в языке и речи и не может рассматриваться вне языкового контекста. Обретение субъектности неразрывно связано с «присвоением языка», реализуемым в речевых актах, преобразующих внутреннее чувство Я в самосознание репрезентирующего себя субъекта.

Ключевые слова: язык, субъект, Соломон Маймон, референция, intersubjectивность, речевой акт.

K. V. Lostchevsky

Language and formation of subjectivity: the version of Salomon Maimon

The article deals with the solution of one linguistic-gnoseological paradox proposed by Salomon Maimon. This paradox is manifested in the relatively late child's mastery of the speech from the first person. To explain it, Maimon moves from explication of the facts of consciousness to the analysis of speech statements, revealing the exclusive nature of the personal pronouns of the first and second person. Their meanings cannot be established by simply correlating the sign and its real referent and therefore they form the intersubjective poles of language communication. It finds out that the self-identification of the subject is carried out

* Лощевский Кирилл Владимирович — кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии, Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов; cantalamessa@mail.ru

primarily in language and speech and cannot be considered outside the linguistic context. The acquisition of subjectivity is inseparably linked with the “appropriation of language” realized in speech acts that transform the inner sense of the Self into the self-consciousness of the self-representing subject.

Keywords: language, subject, Salomon Maimon, reference, intersubjectivity, speech act.

Соломон Маймон (1753/54–1800) — один из самых оригинальных мыслителей немецкого классического идеализма, предложивший весьма нетривиальную и содержательную интерпретацию критической философии, в которой переосмыслил практически весь проблемный спектр кантовского трансцендентализма — от антропологии и гносеологии до этики и философии права. Отталкиваясь от основных концептуальных положений учения Иммануила Канта, Маймон формулирует собственную теоретическую позицию, которую с известным упрощением можно было бы назвать трансцендентальным скептицизмом. При этом одной из характерных черт мышления Маймона является способность обнаруживать в, казалось бы, частных и периферийных вопросах неожиданные и важные проблемы, многие из которых впоследствии будут tematизированы в дискурсах XIX, XX и даже XXI вв.

Так, в небольшой статье «Объяснение одного общеизвестного антропологического явления» [6, S. 521] Маймон обращается к любопытному месту из первого параграфа кантовской «Антропологии с прагматической точки зрения», где Кант как бы вскользь упоминает о парадоксальности того факта, что ребенок, осваивающий речь, сравнительно поздно начинает говорить от первого лица, используя для этого местоимение «я», а до этого говорит о себе исключительно в третьем лице [3, с. 141]. С одной стороны, Кант не останавливается на этом парадоксе сколь-нибудь подробно, лишь признав, что его объяснение представляет собой серьезную антропологическую трудность, а с другой — само его обращение к этому, на первый взгляд, не слишком значительному явлению свидетельствует о том, что в нем дает о себе знать нечто весьма важное для понимания эксклюзивной специфики человеческого существования. Иными словами, в нем заключен фундаментальный антропологический смысл. Трудность, о которой говорит Кант, связана с тем, что тут обнаруживается некий существенный лингво-гносеологический сбой, некая очевидная диспропорция между мышлением и речью, затрагивающая самые основы нашей человечности. Именно обладание представлением о своем Я делает нас, согласно Канту, теми, кто мы суть, «бесконечно возвышая нас над всеми другими существами, живущими на земле» [3, с. 140]. Причем это представление предшествует нашей способности выразить его в речи, ибо мы уже имеем его в мысли, и это сознание самого себя всегда мыслится, когда мы говорим от первого лица, даже если мы не обозначаем его каким-то особым словом. Такое отношение между мышлением и языком (речью) обусловлено тем просвещенческим рационалистическим предубеждением, в рамках которого Кант пытается выстроить свою антропологическую программу. Мышление, основывающееся на самознании, антропологически первично (ибо и определяет человека как особого рода сущее), речь же лишь выражает и фиксирует результаты деятельности соответствующих мыслительных способностей. В этом контексте ситуация,

при которой переход от «только чувствования себя» к «мышлению себя» осуществляется лишь после фиксации самосознания в соответствующей языковой форме, действительно выглядит парадоксально и вызывает затруднения. Примордиальность самосознания как базисной антропологической характеристики должна была бы в первую очередь находить свое языковое выражение, поскольку и сама речь представляет собой эксклюзивную человеческую способность, непосредственно вытекающую из нашей специфической разумности. Однако реальность детского развития демонстрирует нечто прямо противоположное: именно первичный факт представления о собственном Я получает выражение в речи едва ли не в последнюю очередь. Этот несомненный антропологический (ибо, как уже говорилось, он затрагивает саму сущность нашей специфической человечности) дисбаланс не мог не привлечь внимания Канта, который, однако, ограничился в своей «Антропологии» лишь констатацией трудности его объяснения, не предложив каких-то своих вариантов решения проблемы.

Тогда как Соломон Маймон такое решение, как ему кажется, находит. При этом его объяснение разворачивается несколько в ином ракурсе, нежели тот, который был непосредственно задан кантовской постановкой вопроса. Можно сказать, что здесь Маймон совершает своего рода «лингвистический поворот»: от экспликации актов и фактов сознания субъекта он переходит к рассмотрению языка, к прагматическому и семантическому анализу речевых высказываний, в которых субъект артикулирует свое отношение к миру. Маймон обращает внимание, что та же самая особенность характеризует процесс овладения употреблением не только местоимения «я», но и местоимения «ты» и всех прочих личных местоимений. С семиотической точки зрения местоимение представляет собой своего рода удвоение знака: его референтом является не само эмпирически обнаруживаемое сущее, на которое можно непосредственным образом указать, «произнося при этом его название» [6, S. 523], а именно это название, т. е. знак, соотношенный со своим денотатом. В этом смысле местоимение можно сравнить с алгебраической переменной, «пустым» знаком, всегда готовым к новому употреблению в новом математическом выражении. Поэтому значение слова «я» невозможно установить путем прямого соотношения знака и его реального референта, что уже порождает для ребенка определенные сложности в овладении его употреблением. Иными словами, чтобы задать значение какого-либо знака (в рассматриваемом случае местоимения «я»), необходимо задать его предмет, осуществив в конечном счете редукцию к некоей первичной данности, исходному понятию, значение которого устанавливается индикативным образом, путем непосредственного показа того, что обозначается данным словом, что подводится под данное понятие [4, с. 65]. Но именно такая демонстрация, как отмечает Маймон, и оказывается проблематичной. (Ср. у Э. Бенвениста: «Речевые акты употребления я не образуют единого класса референции, так как “объекта”, определяемого в качестве я, с которым могли бы идентично соотноситься эти акты, не существует. Каждое я имеет свою собственную референцию и соответствует каждый раз единственному индивиду, взятому именно в его единственности» [1, с. 286].) Стало быть, необходимо задать условия, при которых этот знак, языковое выражение «я», может использоваться, установить его, говоря языком Л. Вит-

генштейна, «грамматику». Здесь Маймон, по сути, предвосхищает 1) будущую стратегию логического анализа (в его семантическом аспекте), посредством которого определяется осмысленность того или иного высказывания, и 2) верификационистскую теорию значения, согласно которой значение высказывания есть метод его эмпирического подтверждения. Чтобы быть значимым, термин должен либо быть именем чувственных данных, либо он должен быть составлен из таких имен [5, с. 41], а критерием осмысленности высказывания выступает его «переводимость» (термин К. Гемпеля) на «эмпирический язык». С этой точки зрения объяснение Маймона можно рассматривать в качестве такого «перевода»: внутреннее ощущение Я, данное до всякого опыта, только тогда может стать термином осмысленного высказывания, когда оно будет редуцировано к некоей эмпирической данности, к предмету опыта, экстериоризировано в качестве не-Я [6, S. 531]. Кант не случайно говорит о том, что «воспоминания о годах детства не доходят до этой ранней поры, так как это время не опыта, а разрозненных воспоминаний, не соединенных в понятие об объекте» [3, с. 142]. Первая четверть года жизни ребенка — период начала развития восприятий (схватывания чувственных представлений), имеющего целью расширить их до познания предметов чувств, т. е. до опыта. Этот опыт манифестируется в речи, в языке как в медиуме объективации чувственных впечатлений. Восприятия трансформируются в объекты, которые затем именуется, т. е. превращаются в значения элементов потенциально тотальной знаковой системы, границы которой означают одновременно и границы мира [2, с. 180]. Тем самым семиозис оказывается включенным в общую структуру опыта.

Все это означает, что для задания значения местоимения первого лица требуется объективировать то самое предшествующее всякому опыту и фундирующее его внутреннее ощущение Я, которое, собственно, и конституирует субъект — речи, мышления, желания или действия. Ребенок, еще не умеющий говорить о себе от первого лица, тем не менее способен использовать прочие личные местоимения, прежде всего третьего лица, когда говорит о каких-либо предметах или других людях (пусть даже эти местоимения и являются, как уже было показано выше, своего рода «семиотическими дубликатами», что затрудняет их употребление). Сложности связаны именно с использованием местоимений первого и второго лица, обозначающих соответственно субъект речевого акта и субъект, к которому этот речевой акт обращен. «Я» и «ты» отсылают нас не к объектам, или предметам опыта, а к самим субъектам, семиотизация которых в качестве референтов языковых знаков затруднена в силу проблематичности их редукции к непосредственным чувственным данностям, значение которых определяется способом их верификации. Можно сказать, что субъект, взятый как референт языкового знака, сам по себе не-интерсубъективен в том смысле, какой вкладывали в это понятие венские логические позитивисты (т. е. не может выступать в качестве содержания сообщения) [4, с. 76], поскольку его значение нельзя однозначно установить индикативным образом: оно задается лишь посредством включенности в некоторый контекст, в определенную структуру. Значения «я» и «ты» конституируются через совокупность тех отношений, которые позволяют им содержать нечто, что может быть

общим для всех, и тем самым интерсубъективироваться. Для оперирования местоимениями первого и второго лица недостаточно уметь соотносить знак с денотатом, требуется способность, во-первых, включать свое сингулярное и не объективируемое полностью самосознание в многообразную тотальность объективного мира, а во-вторых, распознавать в этой тотальности такие же необъективируемые самосознания, которые могут образовывать автономные коммуникативные полюсы. Сложность здесь заключается в том, что подобная процедура предполагает прямо противоположные действия: с одной стороны, объективацию Я и Ты, поскольку семиозис основывается на установлении связи между знаком и объектом, а с другой, акцентуацию их необъективируемой субъективности, ибо приравнивание ко всем прочим предметам опыта как раз и лишает их значения — присущей им специфичности, требующей использовать особого рода знаки: если они объекты среди других объектов, то и обозначаться должны в общем порядке, посредством тривиальных семем. Я и Ты как интерсубъективные полюсы возможной коммуникации задают поле самой этой коммуникации, тем самым создавая возможность интерсубъективности в логико-семиотическом смысле — трансляции значения от одного субъекта другому. Само же их значение — именно в силу недостижимости их полной объективизации — остается в известной степени неопределенным. Достаточно сказать, что всякое Я всегда есть одновременно и Ты, и именно поэтому оно, собственно, и есть Я; но оно есть Я лишь в оппозиции некоторому Ты, которое, в свою очередь, таково только потому, что само представляет собой некоторое Я. Я и Ты одновременно и тождественны, и противоположны друг другу, поскольку Ты есть не-Я, которое в то же время есть и некое Я. Более того, именно эта их онтологическая и логическая неопределенность и реципрокность позволяет им выполнять свои коммуникативные функции. Я и Ты — привилегированное сущее, ускользающее из сети однозначных определений, и в этой его неуловимости заявляет о себе феномен человеческой свободы. С лингвистической точки зрения данный факт манифестируется в категории лица, которая первоначально связана исключительно с корреляцией «я»/«ты» и отсутствует у других т. н. личных местоимений — «он», «она» или «оно» [1, с. 285]. Я — это лицо, производящее данный речевой акт, содержащий «я», стало быть, оно может быть идентифицировано исключительно посредством речевого акта, который его содержит. То же самое относится и к его корреляту — Ты: он означает лицо, к которому обращаются в данном речевом акте. Таким образом, референтом Я и Ты может быть только одна «реальность»: «реальность речи», процесса интерсубъективной коммуникации, в котором субъект (Я) в корреляции с другим субъектом (Ты) актуализирует язык в речь. Вне этой коммуникации субъект еще не может считаться в полной мере субъектом, поскольку говорящий становится таковым, только когда он идентифицирует себя в качестве единственного лица, произносящего «я», фиксируя то самое сознание самого себя, которое, согласно Канту, является решающей антропологической характеристикой. Поэтому местоимения «я» и «ты» существуют лишь как знаки, актуализируемые в «единовременных речевых актах» (по выражению, Э. Бенвениста), где они маркируют процесс присвоения языка говорящим [1, с. 289]. Тем самым обретение субъектности

оказывается неразрывно связано с этим «присвоением языка», а значит, «одно общеизвестное антропологическое явление» вопреки своему на первый взгляд маргинальному характеру рано или поздно должно попасть в фокус внимания исследователя человеческого сознания и самосознания, ибо оно указывает путь к пониманию глубинных оснований нашей специфической человечности: присваивая язык, мы становимся самими собой.

Из всего вышеизложенного следует, что и сам язык как медиум обретения субъектности не может рассматриваться в качестве объективированного изолированного свойства субъекта, либо изначально ему присущего, либо приобретаемого или конструируемого им задним числом. Человек становится субъектом, присваивая язык в ходе речевой коммуникации, а стало быть, обязательным условием этого присвоения является взаимодействие коммуникативных полюсов Я и Ты, каждый из которых необходим для идентификации другого. Самоидентификация Я возможна только в корреляции с идентификацией Ты, иными словами, только при условии наличия «своего Другого», в контексте многообразия интересубъективных социальных связей. Я, взятое само по себе, вне этого контекста, оказывается лишь упрощенной схемой самого себя, в конечном счете, нелегитимной объективацией, и поэтому любые социально-антропологические конструкции, выстраиваемые на фундаменте подобной гносеологической робинзонады, остаются односторонними аппроксимациями и симплификациями. В этой связи Маймон подчеркивает, что язык как коммуникативное средство не мог бы функционировать, если бы помимо ребенка в мире имелась лишь одна-единственная персона, с которой он мог бы говорить [6, S. 528]. В таком случае он никогда не сумел бы научиться использованию личных местоимений первого и второго лица, поскольку не был бы в состоянии преобразовывать абстрактные понятия в речевые выражения (здесь мы сталкиваемся с неразрешимой логической апорией: «благодаря внутреннему чувству Я он узнает себя как индивидуума еще прежде, чем научиться слову “я”, и путем сравнения себя самого с подобными ему индивидуумами образует эти понятия. Однако... невозможно узнать *in abstracto*, как использовать эти выражения (“я” и “ты”. — К. Л.), прежде чем познакомишься с ними *in concreto*; последнее же... не может иметь места до абстрактности понятий» [6, S. 528]), а следовательно, не в силах был бы «присвоить язык» и тем самым включиться в пространство социальной коммуникации.

Описывая ситуацию формирования человеческой субъектности и артикуляции ее в языке, Маймон отмечает, что свое Я ребенок узнает благодаря внутреннему ощущению, до того, как познакомится с другим Я, которое он признает в качестве такового посредством «позитивного применения способности абстрагирования». Эта процедура оказывается весьма непростой в силу того, что Я мыслится как находящееся вне себя самого, т. е. одновременно в качестве не-Я [6, S. 531]. «Внутреннее ощущение» еще отнюдь не составляет Я как психическое единство, обеспечивающее постоянство сознания и целостность опыта [1, с. 294], более того, именно для трансформации в это единство ему требуется своего рода интересубъективная экстерииоризация, отождествление с не-Я, с Другим, с тем, кто сам может говорить от первого лица. (Бенвенист отмечает, что это «чувство самого себя, имеющееся у каждого человека (в той

мере, в какой его можно констатировать), является всего лишь отражением» [1, с. 294].) Маймон в этой связи указывает, что все прочие общие выражения языка (*nomina appellativa*) обозначают лишь относительно, а не абсолютно общие понятия, точно так же и частные наименования (*nomina propria*) обозначают лишь относительно частные понятия, ибо любые понятия могут мыслиться исключительно через общие признаки. Тогда как личное местоимение «я» (и «ты») «выражает в наивысшей степени общий и одновременно частный предмет, определяемый самим языком» [6, S. 532]. Уникальность этого предмета требует его выражения посредством столь же уникального отношения между обозначающим и обозначаемым, каковое обнаруживается в одном-единственном медиуме — человеческой речи, и более нигде. По мысли Маймона, такое абсолютно особенное познается не благодаря понятию, а только благодаря внутреннему сознанию, тогда как такое общее является абсолютно общим благодаря не общим признакам, а говорению, т. е. «единовременным речевым актам», посредством которых язык присваивается говорящим, обретающим в этих актах свою подлинную субъектность. Внутренне чувство экстериоризируется в речевых актах, преобразуясь в самосознание репрезентирующего себя (говорящего от первого, т. е. в полном смысле слова своего лица) субъекта.

Таким образом, можно констатировать, что Кант и вслед за ним Маймон тематизировали узловую момент формирования и функционирования человеческой субъективности. Я как психическое единство, предшествующее всякому аккумулируемому в нем опыту и никоим образом к нему не сводимое, обнаруживает себя в языковой коммуникации, полюса которой находятся друг с другом в уникальном отношении, не имеющем аналогов за пределами области языка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бенвенист Э. Общая лингвистика / пер. с фр. И. Н. Мельниковой. — М.: Прогресс, 1974.
2. Витгенштейн Л. *Tractatus logico-philosophicus* // Витгенштейн Л. Избранные работы / пер. с нем. В. Руднева. — М.: Территория будущего, 2005. — С. 14–228.
3. Кант И. Антропология с прагматической точки зрения / пер. с нем. Н. М. Соколова. — СПб.: Наука, 1999.
4. Крафт В. Венский кружок. Возникновение неопозитивизма / пер. с англ. А. Никифорова. — М.: Идея-Пресс, 2003.
5. Куайн У. В. О. Две догмы эмпиризма // Куайн У. В. О. С точки зрения логики. 9 логико-философских очерков / пер. с англ. В. А. Ладова и В. А. Суровцева. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. — С. 24–48.
6. Maimon S. *Erklärung einer allgemeinbekannten merkwürdigen anthropologischen Erscheinung* // Maimon S. *Gesammelte Werke* / Hrsg. von V. Verra. — Hildesheim; New York, 1976. — Bd. 7. — S. 521–532.